

Главы из повести "Лето и ливни"

Останки рыбного базара



Кто, кроме меня, опишет и взрежет ножом пожухлую рыбу заката над пустым азиатским базаром, где золотой мусор, дыни, хурма, и ветер-подметальщик сносит последних одиноких продавцов — одноглазого седобородого мусульманина, творящего намаз над вечерним товаром под первой звездой, и девочку с двумя кучками инжира на земле? Краски над площадью легчайшие, акварельные, и лиловый рисунок рериховских гор (под Самаркандом?) — гортанный рев трубы или осла... Тоскливый, пыльный вечер в Намангане — под пение джурбаев и клетот арыков, холодных, мутных, ледяных, освежающих, сомлевший от жары город, где кружится голова в переулках от запаха роз...

О, останки рыбного базара!.. Девчущка-узбечка, улетающая косичками в горы, и смуглые коленки бьются в беге, налитые воздухом густым, вечерним... О, быстрая азиатская кровь, ударяющая в щеки девушкам Узбекистана!

Узловатые старики-узбеки, в кривых ичихах и темных халатах восседающие за чаем в чайхане, смотрят на меня древним восточным взглядом: я для них случайная косточка России, росточек, который сюда закинула эвакуация и война, — маленький, испуганный беженец-иудей, а кругом Восток... Но другой. Не Средний, не Ближний, не Дальний...

Сплошной туман

Я вышел рано, до звезды...

А.С. Пушкин

Сегодня такой туман подползал к городу, сплошной, первобытный... Из тумана торчала ветка, угол дома, кусок от замороженного белья — гипс, камень — окаменевшая тряпка, листок... На балконе третьего этажа висел не шелхнувшись бледный месяц. Он почти умер. До весны ему не оттаять...

Туман рос, подымался, он напозлал, обволакивал, лепился. Ночью он замерз и остановился. Скрепил пространство. Окаменел совершенно... Утром я не мог открыть форточку. Туман зеленой глыбой льда торчал в стеклах окна — в трещинах и кристаллах я видел замороженное, заколдованное холодом лицо утра. Снег, ворота, двор, хворост, куски улицы. Ни скрипа, ни ветра. Только ревун ревет... Наспех одеваюсь, выхожу. Тьма, в двух шагах — ничего...

На троллейбусной остановке пусто, как в Антарктиде... Как же люди пойдут на работу? Хотел бы я знать. Успокойся: они не пойдут. Как? Так. Не пойдут — и все. Двери не открываются. Следующей станции не будет. Какие-то блокадные трамваи, пустые, холодные. Их занесло снегопадом.

...Никто уже никуда не идет. В гигантском обморочном холоде медленно, как дирижабль, погибал город... Хотя все утренние кафе почему-то работали. Кофе был приготовлен. И это вселяло надежду...



Сорок папиных кальсон

Толик мне рассказывал:

— Дома я замесил белье. Как тесто. И дал ему взойти. Когда в миске набралось штук сорок папиных кальсон, я успокоился. Я себе решил: пусть отмокают. И отправился в библиотеку со столярным клеем. Там я часа два клеил книги одна к другой. Это мой отдых и одновременно рацион. Потом пришлось вернуться. И снова замочить уже замоченное белье (чтоб оно уже совсем замочилось...). И сварить рисовую кашу со всеми кухонными принадлежностями. Затем я смолот мясо — все, что было в доме. И нашлепал штук двадцать котлет для родителей. И уже потом к нам пришел этот депутат из райсобеса, чтобы рассказать, как быть тому, у кого плохо с квартирой... В частности, нам он рассказал много полезного. И мой папа сразу начал жаловаться (ты же знаешь моего папу?). Например, он тут же рассказал про форточку, которую трудно за-





крывать в эти холодные зимние дни... Потом нам обещали. Нам обещали квартиру — в текущем квартале будущего года или в последнем — текущего, с отдельным санузлом (для общих нужд).

— Так это же неплохо... Это же неплохо, Толя!

— А я не говорю, что плохо. Главное, что мы пожаловались. Теперь у отца легче на душе. Но предстоит еще много забот... Фима, ты заметил — весь день на улице был туман. В такой туман одни стихи на ум идут, правда? Про дождливый туман какого-то города, где должен жить Павлов с вязанкой своих рукописей. Как будто это пожитки его дров... В этом городе он наконец закончит свои рассказы. Но такого города нигде нет...

— Послушай, Толя, вот ты пишешь: "левосторонней музыкой плеврита"... Как это понять?

— Очень просто. Это как правосторонний костный перелом луча спины ключицы. Или перегиб предплечья "локтем кости онемелой". Я уверен, что ты меня почти понял. Потом идут стихи. Стихи хорошие:

Я уже большой, как видно,
я иду пешком по крышам,
я иду на нерест ночью,
глухо кашляя в кашне.

И за мной плетется ветер,
кровожадный провожатый,
языком глухонемецким
заразив родную речь.

Вот теперь все встало на свои места.

В дурную погоду

Мы собирались часто. Гасла осень...

Е. Я.

В дурную погоду мы собирались и играли в слова: глауберова соль, гауляйтер Прибалтики, глинобитные машины, глобус, гамма-глобулин, глициния, гланды, Галапагосские острова... И так далее, и так далее. Мы уже не могли из этого выбраться и уже не хотели. Нам было уютно, нам было хорошо. Как в добротной шахматной партии, где глупость неуместна. Куда посторонним вход запрещен...

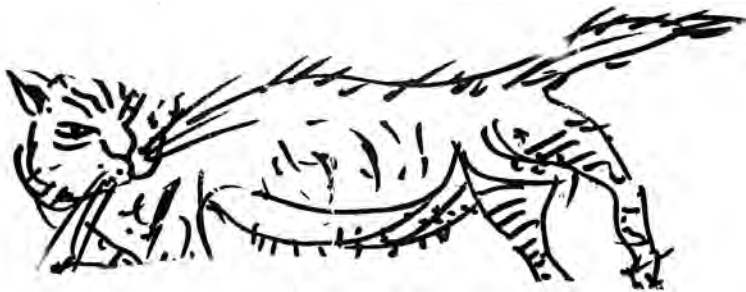
Не мешайте нам жить! Там, где мы хотим. Социум за окном нам не указ... И не забудь сюда слова: глина, глупость, глисты... "И обязательно — кофе-гляссе! Я его обожаю". Гамма, гимн, гипноз, глинобитные машины, голуби, Ганнибал... И еще — застряли во мне из школьных лет гиксосы. Кто они такие? Хотел бы я знать. Их давно уже нет. Зачем же тогда они? И дивная фамилия — Гиммельфарб... Все. Мы впадаем в детство. Мы становимся немного дефективными, зато свободными. Мы пьем чай, играем в слова и наслаждаемся друг другом... Мы почти счастливы.



Представь себе: дождь, единство, разговор с Лерой, все однажды собираются — все, кто любит друг друга. Телефон... Какое счастье, что изобрели наконец телефон! Толик прав. Мы живем отдельно, каждый у себя, но родина (духовная) у нас одна. Когда осень, дождь и пустеют улицы, нас всех охватывает тоска по общности. И море, и снегопад... А в комнате тепло. И дух, который веет, где хочет. Это счастье... Ты меня понял? Мы были как дети. И мне не стыдно об этом говорить, не стыдно в этом признаться. Мы были невинны, чисты и прекрасны...

Между кошкой и собакой

— ...Между тем, когда наступает ночь, моя кошка оживает. Она — тайна ночи. Кошка таинственна. Страшно бессмысленны ее глаза. Но именно поэтому кажется, что она знает и понимает больше, чем моя собака. Ей внятно нечто непостижимое для меня... Она жмурится, раскрывает, распахивает глаза, вбирая в свою теплую пушистую плоть когти... Хрусталик глаза заполняет весь зрачок. Кошка не думает, — она вбирает, всасывает меня, мир — и тут же отпускает. Потому что я не нужен ей. Возможно, она ничего не знает ни про меня, ни про мир. Это через ее зрачки проливается ночь. Она — душа ночи. Темная, древняя душа вдруг появляется и пугливо прячется снова... Она боится меня. Это не кошка смотрит на меня, а древний Хаос, темное правремя, джунгли... Я тоже боюсь ее, я не могу на это долго смотреть и суеверно опускаю глаза...



Да, ночью кошка значительна, она почти пума, почти царица. Она не спит. Наоборот — она оживает...

А собака спит. Спит, дышит, стонет во сне, вздыхает... Ей снятся сны. Почти человеческие... Она почти человек, эта собака. Все знает, все понимает, все предчувствует, ко всему готова. И знает, что умрет. Вот что нас сближает. Но ведь и я сам знаю, что умру. То есть я подозреваю это. Но не знаю наверняка...

— Не знаешь наверняка?!

— Ну... все может случиться...

— Счастливчик!

...Однажды был Новый год. Мы встречали его у Леры. Там была Люда Кругликова. Я был безумно влюблен в нее. Совершенно обессиленные от встречи, мы вышли на балкон. Было утро, был туман. "Туман, как у Коро... Да?" — сказала Люда, но в тумане я не видел ее. Дерево роняло крупные капли пота на гранитную мостовую. Мы считали эти капли. Досчитали до сорока. Потом вернулись в комнаты. Все спали вповалку. Чьи-то ступни оказались на моей голове. Острое ощущение блаженства охватило меня... Впрочем, ненадолго.

Еврейский праздник (Москва, синагога, 1981 год)

Я в синагоге. Впервые в жизни. Сегодня йонтыф. И кантор с пейсами поет. Красный от натуги. Голос его звенит, как у итальянского певца. Но иначе. Он берет за душу и уносит высоко... Царь Давид, он в парче. Алхэд и Тора. И любимые бабушкины слова: швуэс, талес, лехаим, Готыню, умейн... — уносят меня, и я выпадаю в древнее детство... И могендовиды горят из лампочек во тьме, и древние письма... Лехаим, Готыню, умейн... И всё.

...Плачут свечи. Мы молимся. И потом — пляска вокруг свитка с Торой... Прекрасные юные лица. Неужели это совершается? Неужели возврат к жизни — полной, не стыдящейся себя, теплой, теплокровной, горячей? Свободной... Неужели?.. Я не знаю. Трудно сказать. Я молчу. Эти завиточки волос у раскрасневшегося ушка... И могучий голос кантора: "Разомкни мои уста, Владька, и мой язык воспоет Тебе хвалу! Благословен Ты, Господь!.." Неужели Кол-нидрей? Свечи... Первая звездочка в небесах.



...Но я ошибся. Кажется, я смешал два празднества. Это неважно. Главное — что это уже жизнь!.. Я плачу. Я почти пою...

Благословен ты, Господь Бог наш и Бог наших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Иакова, великий, могучий, грозный Бог... Запиши нас в Книгу жизни ради Тебя самого!

Твоя глава полна лучезарной росой, Твои локоны — каплями ночи...

Назревает скандал

— Вообще, ты стал всех нас слишком жадно и нехорошо слушать. Особенно меня. Почему я должен это рассказывать тебе? Почему именно тебе?

— Ты действительно все должен рассказывать именно мне...

— Но почему? Почему тебе??

— Потому что ни в ком это так не застрянет. Я слушаю тебя не просто внимательно. Я впиваю твои рассказы. Я становлюсь тобой, когда ты рассказываешь. Я сам рассказываю себе, когда ты говоришь. Я твой рот. И ты напрасно волнуешься. Все это во мне застрянет. Как ни в ком. Никто так не схватит обеими руками на лету твою жизнь, как я. Только во мне щепочка твоего рассказа (твоих рассказов) начнет обволакиваться нежным гноем искусства... Она почти съедобна, почти вкусна. Грех ее выбрасывать.

Твои занозы я превращаю в тело своего рассказа. Пусть застревают. Застрянет то, что нужно. Здесь я не властен. Они поселяются во мне,





в моих тканях нарывают, нагнаиваются, дают цвет и влагу, — твоя лимфа идет на мой эпителий, и кровь разносит ее дальше, в самые сокровенные места. Это уже не ты. Это я. Ты преображен, превращен — ты уже стал другое.

Не обижайся. Здесь не моя заслуга. И не твоя вина. Так получается. Я просто отзывчив на твои щепки. Во мне болит твой зуб. Представляешь? Я этого хочу. Я прикусываю десну, прижимаю ее к болящему зубу, — радужный мост боли опоясывает мои десны теплой, пульсирующей шиной. И этот сочный, сладкий, саднящий зубчик — уже мой. Я люблю его. И так просто я его не отдам.

Так назревает скандал. Дождь. Горячий тропический ливень. Зреют яблоки — уже мои. Там твоя косточка, но моя мякоть. Тело моего рассказа. Моя сладостная плоть. Можешь ее покушать. Я ее поливал, но мне не жалко. Ты понял? Так что твоя косточка не пропала.

...Попробуй теперь сказать, что я плохо поступил...

АВИТАМИНОЗ

Тает весна. Стекла машин забрызганы нефтью, свежей водой из-под снега. В машину бьет тугой ветер весны. Пахнуло детством, тортом, сладким сиропом грачей... Смотрю: с изумрудным в морозе лицом, весь в седине из детства, старый Миклухо-Маклай в шапке-ушанке и чуть ли не в трусах с капюшоном. Лик профессора, из Жюль Верна — чело загорелое, отморожены руки... сосульки с усов... взгляд вдохновенный, наполненный звездами... Он просто обжигал своим взглядом горячим, этот Миклухо. Зима... В слезах, в сумерках звезды, подтекают калоши, теплый паркет, книги, уют, тишина, библиотечные полки... "Добрый вечер, профессор", — хочется сказать мне, и я говорю это, и он от-

вечает: "Добрый вечер, коллега". Бесконечные математические расчеты. Это очень уважаешь... но вижу, что чистое безумие... Все равно, он прекрасен. Рядом с ним хорошеешь...

"Нарциссизм весны, да? Две первые зеленые девочки на Сабанеевом мосту, первые ласточки... Как первые огурцы, первая зелень. Еще авитаминоз, а девочки уже появились..." — Мишель лениво курит и комментирует погоду.

Сабанеев мост заносит рыхлым снегом, бледными цветами весны. Туман съедает памятники... Жрет воду каналов. Каналетто. Дом на набережной... Зимний дворец. Зимний насобачился, сгорбился, готов к гибели в тумане...

...Потом на город обрушилось бесшумное лето. Успенская церковь. Лето и ночь, белая от страха... Дома пугаются друг друга. Испуганная белая ночь в Одессе... Теплая темная коммуналка, где живет Гирш, где добротню, надежно пахнет теплыми коржиками и супчиком нежным... Мама подходит к двери, долго прислушивается, потом возвращается в комнату и говорит растерянно: "Гриша, там пришли...". Павлов стоял у порога.

Высокое пламя костра

...Горел, догорал диван Павлова.

— Поджарим их на медленном огне, — говорил он в азарте. — Но лучше на быстром.

— Кого — их?

— Клопов. Они заслужили это высокое пламя.

Они меня извели.

— Ты просто безумен...

— А ты?

— Да, и я безумен. Ну и что из этого? Ровным счетом ничего.

Догорает диванчик, дотлевают прошлая жизнь, трещат и лопаются клопы... Там такой маленький металлургический заводик внутри, плавильня... Кто бы мог подумать — завод Павлова! Там бушует алхимическое пламя, плавятся слитки золота, золотые слитки жизни. Воняет кожей старого кресла,



старого мира. Дерматином, опилками, всем, чем был набит диван, — горелым тряпьем, керосином, железом... Там шевелится огонь, и души клопов улетают к небесам. В мерцающем перегаре железа роятся птицы. Очищающее пламя костра уносит дурные мысли и поступки... Мы не можем оторваться от этого зрелища. Весь двор заворуженно смотрит на это аутодафе. "И мы преобразимся", — шепчет кто-то...

Диван догорал уже вторые сутки. Наконец дождь загасил тленье, костер зачал.

— Слава Богу. Я от него избавился. Хотя он знал и помнил много прекрасного. Помнил счастливые дни. Наши разговоры, чаепития. Наш бред, спиритические сеансы, беседы, исповеди, любовные признания, стук сердца и часов...

— Тебе не жалко?

— Мне жалко. Но мне не жалко. Это должно было случиться. Рано или поздно. И это произошло. И слава Богу.

Рисунки автора

